

# ДИСКУССИЯ

Евгений Добренко

## От истории литературных институций к институциональной истории литературы

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_175\_3\_229

Обсуждаемый здесь текст проблематизирует ключевые практики советского культурного/литературного производства и без преувеличения имеет прорывной характер. Он не только поднимает множество частных вопросов советского литературного быта, но и позволяет поднять куда более важные общие проблемы, о которых вслед за авторами мне хотелось бы поговорить.

С поворотом русистики к социальной истории на рубеже 1980-х годов открылись новые, ранее малозаметные или недооцененные, но в действительности определяющие практики советской повседневности, такие как блат и взятки, патронаж и связи, и их роль в функционировании советских институтов во всех сферах от политики до экономики, о чем в последние десятилетия вышло немало первоклассных работ, главным образом на Западе. К сожалению, для понимания того, как функционировали культурные институты в советских условиях, сделано еще совсем мало. Я бы назвал разве что недавно вышедшую книгу Кэрол Эни «Союз советских писателей и его руководители: Идентичность и власть при Сталине»<sup>1</sup>.

Если прибегнуть к медицинской метафоре, можно сказать, что подобно тому, как при удалении желчного пузыря желчь находит новые протоки, так и культурное производство в условиях деформации культурной и публичной сфер находит новые пути коммуникации. И без понимания этих путей нельзя понять того, как было устроено культурное поле. Мы же не только не знаем истории советских литературных институций — до сих пор нет историй ни творческих союзов, ни толстых литературных журналов, ни издательств и других ключевых институций советской культуры и литературы, — но нет даже понимания того, что эти истории складываются в итоге в институциональную историю литературы, то есть историю, в центре которой не тексты и авторы, а механизмы культурного и литературного производства, определяющие — через взаимодействие производителей с заказчиками, потребителями и друг с другом — специфику самого этого производства: эстетические особенности, расцвет и упадок жанров, репертуар стилей и языковые режимы. До тех пор, пока все это не станет предметом систематического изучения, советская культура как исследовательское поле будет подвержена влиянию разного рода политических и идеологических завихрений.

---

1 Carol A. The Soviet Writers' Union and Its Leaders: Identity and Authority under Stalin. Evanston: Northwestern University Press, 2020.

В этом свете обсуждаемая работа представляется мне чрезвычайно важной. Она позволяет понять, что история институций и институциональная история (так же, как и история культуры и культурная история) хотя и близкие, но все же различные области. Авторы ищут пути коммуникации не столько внутри, сколько вне институций, они работают на их границах, что помогает увидеть многое не только в механизмах их функционирования, но, что еще важнее, — в самой их природе.

В отсутствие правового государства все сферы жизни — от экономики и идеологии до армии и культуры — проходят через то, что авторы называют теневой коммуникацией, но в более широком смысле речь следует вести о теневой институционализации. Когда от институций остаются одни оболочки, а сами они выполняют совсем не те функции, которые ими заявлены, начинается жизнь в двойном измерении. Реальные функции остаются непроговоренными, неформализованными, неотрегулированными. Они осуществляются на основе «неписаных норм», «правил игры», «понимания», «понятий» и т.п. И хотя речь идет о полувековой давности советском прошлом, по сути перед нами знакомая каждому в современной России «жизнь по понятиям» — такая, какой ее можно наблюдать в сфере культуры.

В «стране фасадов» именно за кулисами (бэкстейдж) выстраивались стратегии творческого и общественного поведения, границы допустимого и недопустимого, эстетические концепции, отношения с цензурными и бюрократическими инстанциями, групповые идентичности, финансовые отношения (формы литературного заработка), отношения внутри литературных иерархий, (не)участие в политических ритуалах и многое другое.

Статья проливает свет на такое важное и малоизученное явление советской литературной жизни, как «групповщина». Очевидно, что эта борьба перетекла в сферу культуры из политики. Едва ли не половина ленинского и сталинского литературного наследия посвящена борьбе со всевозможными «уклонами» в партии. После того как X съезд ВКП(б) принял резолюцию «О единстве партии», фактически запретившую фракционную деятельность, всякая фракционная борьба рассматривалась в СССР как проявление политической нелояльности. Начиная с 1920-х годов режим боролся с разного рода «группами и группочками». С распространением этого принципа на сферу культуры, закрепившемся в 1930-е годы с созданием демонстрировавших «единство» творческих союзов, подобная деятельность в области культурного производства также стала предметом осуждения, а само понятие «групповщина» приобрело отчетливо негативный характер (хотя еще в 1920-е годы литературный процесс был организован вокруг литературных групп). Но в 1930-е годы многие практики «лихих двадцатых» были осуждены и отвергнуты. В этих условиях всякая «групповщина» рассматривалась как опасная, едва ли не антигосударственная деятельность, направленная на формирование какой-то независимой позиции или, на языке тех лет, «платформы». Несомненно, однако, что никакие нивелирующие институции в сфере культуры не могли ликвидировать «групповщину». Даже в условиях сталинского Союза писателей все признаки «групп» имели «партии», объединявшихся вокруг таких фигур, превратившихся в важных патронов со своей свитой, как вначале Горький, Луначарский и Серафимович, затем Фадеев, Панферов, Симонов. В 1930-е годы была «партия» вокруг журнала «Литературный критик». В 1960—1980-е годы свои «партии» возникли вокруг целого ряда журналов: «Новый мир» и «Октябрь», «Молодая

гвардия» и «Наш современник», «Юность» и позже, в условиях перестройки, — «Огонек», «Знамя», «Дружба народов»... Словом, теньевые коммуникации и теньевые формы институциализации были неизбежным явлением в условиях тотального запрета на альтернативное суждение, на экспансию власти и ее нацеленность на поглощение любых анклавов автономности. То, что рассматривают авторы статьи, является, по сути, описанием разных форм групповой политической идентификации в широком диапазоне — от правоверных марксистов до либеральных народников, от диссидентских групп до русской партии. Все они работали в режиме бэкстейджа. По сути, этот режим в одной из своих ипостасей стал своего рода формой самоорганизации так и не состоявшейся в СССР деформированной публичной сферы.

Говоря об историко-литературных аспектах поднимаемых в статье тем, хотел бы обратить внимание на характерно стертые хронологические рамки описываемых авторами практик. Они рассматривают ситуации эпохи застоя, но ряд примеров относится к эпохе оттепели. По сути, они мало чем не отличаются. Вернее, позднесоветские практики (брежневской эпохи) отличаются от оттепельных разве что большей укорененностью, рутинизацией. И это является еще одним аргументом в пользу того, что, как мне представляется, важно для периодизации истории советской литературы, а именно что никакой «литературы эпохи застоя» не существовало. Это видно и по темам, которые ее питали и которые все возникли в оттепельное время; и по ее жанрам, возрождение и расцвет которых пришелся на оттепель; и по языковым и стилевым сдвигам; и по идеологическим и политическим размежеваниям; и по поколению авторов, доминировавших в 1970-е, — все они входили в литературу в оттепельную эпоху. И вот теперь к этим аргументам можно добавить социологическое измерение: практики литературного производства и литературного быта, доминировавшие в 1970-е годы, возникли и укоренились в оттепельную эпоху. Поэтому мне представляются схоластичными споры о том, когда завершилась оттепельная эпоха в литературе — после снятия Хрущева, после суда над Бродским, после дела Синявского и Даниэля, после танков в Праге... Политически оттепель заканчивалась в течение всех этих лет (1964—1968), но культурные практики, как показывают авторы этой работы (хотя они и не ставили это своей целью), с этим связаны мало. По сути, мы имеем дело с единым периодом. Я бы сказал, что советская литература прошла три этапа развития, каждый из которых характеризовался, помимо прочего, своими формами бытования литературы и особенностями литературного производства: революционная эпоха (1917—1932), сталинская эпоха (1932—1953) и эпоха нормализации (1953—1991).

Обсуждаемая работа посвящена истории. Но истории ли? Разве эти практики в сфере культуры, образования, повседневности в широком плане стали прошлым? Нисколько. Более того, по мере усиления разного рода репрессивных и цензурных практик, находящихся в серой зоне легальности, расцвет подобных практик кажется мне совершенно неизбежным. Мы вновь оказываемся в мире табуированных понятий, перевернутых смыслов, неартикулируемых «правил игры», «неписаных норм», «понимания»... Поэтому обсуждаемая работа представляется мне не только весьма симптоматичной, но и чрезвычайно актуальной.